

## ЧЕЛОВЕК ВО ВЛАСТИ ЯЗЫКА: ЧЕСЛАВ МИЛОШ О ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКОВОГО ДЕТЕРМИНИЗМА

Е. Е. Бразговская

*Пермский государственный педагогический университет*

Поступила в редакцию 17 октября 2011 г.

**Аннотация:** основное направление статьи – художественная интерпретация проблемы языкового детерминизма. Этот «открытый» вопрос современной философии языка представлен Чеславом Милошем в «теоретическом» плане (язык как дом поэта, влияние грамматических структур языка на восприятие мира) и как сущностное основание поэтического творчества (степень истинности отображения мира определяется возможностями, которые предоставляет нам язык). Одновременно вопрос о «власти языка» есть антиномия: поэт во власти языка, но и язык под контролем поэта.

**Ключевые слова:** лингвоцентричная литература, философия языка, лингвистический детерминизм, истинность языкового отображения.

**Abstract:** the main direction of article – artistic interpretation of language determinism problem. Czesław Miłosz presents this «open» question of modern philosophy of language in the «theoretical» plan (language as a home of a poet, influence of grammatical structures on perception of the world) and as the basis of poetic creativity (degree of the validity of verbal pictures-representations is defined by possibilities of language). At the same time the question of «the power of language» is antinomy: the poet is under the power of language, but also language is under the control of a poet.

**Key words:** language-centered literature, philosophy of language, linguistic determinism, validity of verbal pictures-representations.

На самом деле язык использует человека, а не наоборот.

*Иосиф Бродский*

Основным направлением этой статьи выбран практически не отмеченный исследователями аспект творчества Чеслава Милоша<sup>1</sup>: возможность говорить о вопросах философии языка в пространстве художественного текста<sup>2</sup>. Непосредственным предметом внимания станет проблема языкового детерминизма. Милош рассматривал вопрос о «власти языка» не только в теоретическом плане как философско-лингвистический, но и как сущностное основание поэтического творчества: степень адекватности художественного отображения и познания реальности в равной степени связана с возможностями, которые предоставляет нам каждый язык, и со способами его употребления.

Милош – один из немногих художников слова, к которым определение лингвоцентричный (language-centered) приложимо в буквальном смысле: поэт,

пишущий о языке, делающий язык персонажем своих текстов. Поэзия как производная от языка призвана актуализировать спектр его возможностей. Одновременно и язык – производная от работы поэта. В этом объяснение, почему поэзия неминуемо выбирает язык в качестве одной из своих тем, становясь метаязыком, инструментом и пространством его познания: «Because poetry is primarily a linguistic creation, self-conscious poetry is, unavoidably, poetry about language» [1, p. 6].

Среди лингвоцентричных авторов (И. Бродский, О. Паз, Х. Л. Борхес, М. Павич) Милош занимает особое место. Его интересуют не только отдельные темы, связанные с языком (например, «недостаточность языка» у О. Пазы), или мышление лингвистическими метафорами (И. Бродский), но и «анализ» жизни человека в языке и языках, потенциал языка – те возможности и ограничения, которые он предоставляет нам для отображения мира. А это уже сопоставимо по масштабу с работой академического философа. Милош неоднократно отмечал: «...язык – моя основная и безбрежная тема» [2, s. 19, 207]. Однако свои занятия языком он не причислял к сфере филологии, рассматривая их в рамках интереса к истории идей.

<sup>1</sup> Чеслав Милош (1911–2004) – польско-американский поэт, эссеист, лауреат Нобелевской премии 1980 г. в области литературы.

<sup>2</sup> См. посвященную этим вопросам монографию автора этой статьи: Бразговская Е. Язык как персонаж. М., 2012. 170 с.

© Бразговская Е. Е., 2012

Одной из знаковых в интеллектуальной истории XX в. стала «удивительно красивая», как определяет ее Ю. Д. Апресян, идея языкового мировидения и, как следствие, гипотеза лингвистической относительности. Не останавливаясь подробно на общеизвестных положениях этой гипотезы [3; 4; 5], заметим только, что все они акцентируют наше внимание на следующем. Язык – первая моделирующая система отображения мира, его первая «картина», запечатлевшая для нас начальный опыт освоения и познания мира в форме словаря и грамматики конкретного языка. «В каждом языке заложено самобытное мирозерцание» [6, с. 80], и различия между языками – это различие в мировидении. Или: «... человек, говорящий на двух языках, переходя от одного к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли <...>» [7, с. 260].

Размышления Чеслава Милоша об отношениях человека и его языка в большей степени предопределила следующая ступень в развитии гипотезы лингвистической относительности – идея *языкового детерминизма*. Здесь значимыми становятся ответы на следующие вопросы: в какой степени язык (как таковой) оказывает влияние на наше сознание, какое участие он принимает в формировании человеческого мышления, насколько смоделированное языком мышлением представление о реальности совпадает с самой реальностью. Милош очень точно отражает причинно-следственные отношения ряда идей культуры XX в. Если язык есть единственная *среда* человеческого существования, *дом* бытия, бесконечный *круг*, из которого человек не в силах выйти (М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер), *начало начал* (И. Бродский), то тогда он становится *субъектом*, творческой и творящей *силой*, *мыслящей сущностью* (С. Лем), способной определять наш способ восприятия мира.

Анализ корпуса текстов Чеслава Милоша позволяет сделать вывод о том, что власть языка – одна из его сквозных тем, для воплощения которой он в равной степени использовал свой дар поэта и аналитика. Его разрозненные высказывания о языковом детерминизме могут составить отдельный лингвистический трактат<sup>3</sup>, существующий в виде серии малых форм: множественных эссе и замечаний о языке, композиционных включений в поэтических текстах и философской публицистике. Высказываниями о власти языка образуется гипертекст, перемещаться в котором можно в направлениях, указываемых *проблемными вопросами*: язык как дом поэта, влияние грамматических структур языка на восприятие мира, вопрос о

соотношении языковой картины мира и «истинной» реальности. Именно таким движением обусловлена композиционная структура данной статьи.

**Язык как дом поэта.** «Язык – это <...> мой дом, с которым я иду по миру» [8, с. 245]. Жизнь человека определяется языком именно потому, что протекает в языке. У Ч. Милоша, как и у Х. Л. Борхеса, И. Бродского, М. Павича, метафора язык-дом развивается практически до своего буквального значения: в пространстве языка человек рождается, живет и продолжает жить после смерти. Милош говорил о языке как начале, определившем его личную и литературную судьбу. Так, место его рождения – это, прежде всего, среда польского языка, а потом уже Литва как часть Российской империи<sup>4</sup>. Отношения поэта и языка проясняются в текстах Милоша россыпью метафор: *zadomowienie, osadzenie, zakorzenienie* – рождение и существование внутри языкового дома, поселение, произрастание (в языке), погружение (в язык). Укорененностью в польском языке Милош объясняет невозможность писать на каком-либо другом, даже английском, ставшим в эмиграции его «вторым домом»: «Nie znoszę pisać w obcym języku, nie umiem pisać w obcym języku» [2, с. 31].

Отсутствие языка, на котором пишешь, есть своего рода *бездомность*, которая неуклонно ведет писателя к самоубийству – физическому или духовному [9, с. 197]. В эмиграции (в контексте французского языка в Париже, а затем английского в Беркли) о родном языке Милош говорит как о защите, *коконе*, позволяющем существовать в биологическом смысле и писать: «Моё мышление очень тесно связано с коконом того языка, в котором я родился, он защищает меня на протяжении всего пути» [10, р. 4].

Человек не покидает языковой дом даже после смерти, становясь частью самого языка:

The gates of grammar closed behind him.  
Search for him now in the groves and wild forests  
of the dictionary («On the death of a poet») [11,  
р. 719].  
Закрылись за ним ворота грамматики.  
Ищите теперь его в рощах и дремучих лесах  
словаря<sup>5</sup>.

От положения «язык, в прямом и переносном значениях, – мой дом» один шаг до следующего: «язык правит нами», мы во власти языка, который больше, нежели человек и его история. По определению К.-О. Апеля, «очевидно», что язык: а) обладает собственным бытием; б) артикулирует в своих знаках не очевидные для человека смыслы («проговаривает

<sup>3</sup> Чеслав Милош – автор целой серии *Tractatus* – формы, в которой определенным вопросом рассматривается и обсуждается аналитически, а часто и полемически: «Traktat poetycki», «Traktat moralny», «Traktat teologiczny» (соответственно трактаты поэтический, моральный и теологический).

<sup>4</sup> Чеслав Милош родился в Шетейняй – в Ковенской губернии, входившей в то время в состав царской России. В настоящее время это территория Литвы.

<sup>5</sup> Здесь и далее подстрочный перевод мой. – Е. Б.

бытие»); в) оказывает определенное воздействие на способ нашего мышления, формируя так называемую «картину мира» [12, с. 237–263]. В пространстве милошевских текстов происходит образная актуализация всех перечисленных философских положений.

**Язык обеспечивает «существование» мира.**

Милош интерпретирует основную аксиому семиотики: быть – это быть знаком:

Jedynym dowodem istnienia panny X  
Jest moje pisanie... («То любіє») [13, s. 67].

Единственным доказательством существования панны X является то, что я о ней пишу...

Все, что не стало языковым знаком, движется к несуществованию: «Co jest niewymówione zmierza do nieistnienia» [13, s. 75]. Люди, города и целые страны исчезают только потому, что не были «переведены» в знаки, что мы не нашли слов, способных остановить их уход. Милош писал: «...один за другим уходят люди. И множатся вопросы: продолжается ли их существование, как? Только пульсация моей крови, только моя рука дают им возможность хоть на мгновение вернуться к живым, обретя дом в моих текстах» [8, s. 358]. Язык не только сохраняет для нас ушедшее, но и создает будущее. Знаки, замещающие понятия о еще не существующих вещах, предшествуют их реальному воплощению<sup>6</sup>. Поэт – волшебник, шаман, знаток заклинаний, обладающий возможностью создавать реальность из слов [13, s. 75].

Грамматические структуры языка оказываются **априорными предпосылками всего, что может быть увидено и высказано** [14, с. 322]. Сама возможность упорядоченного отображения мира, в том числе и в рамках формальных языков науки, предусмотрена структурой естественного языка. Он осуществляет функцию рассудочного расчленения мира, где предметы словно существуют вне свойств, а свойства живут в отдельности от своих предметов. Благодаря языку, в котором атрибутирующие формы являются самостоятельными единицами словаря, свойства вещей начинают также восприниматься нами словно «отделенные» от предметов и, более того, обретать собственную предметность:

O spokój wody pod skałami i żółta cisza popołudnia  
i odbite poziome obłoki! («O!») [13, s. 104].

О, покой воды под скалами и желтая тишь пополуночи и отраженные облака.

<sup>6</sup> Ср. с размышлениями У. Эко о возможности возникновения новых, пока еще не существующих объектов: «Ты не тревожься, что доселе их нет. Это не значит, что их и не будет. Я скажу тебе: Господу угодно, чтобы они были, и истинно они уже существуют в его помысле...» (см.: Эко У. *Имя розы* / пер. с итал. Е. А. Костюкович. СПб., 2002. С. 24).

Логика понимания мира говорит о том, что вода в точке «я-здесь-сейчас» не существует в отдельности от своих атрибутов *быть, быть спокойной, недвижимой*. А значит, нашему восприятию должен быть доступен такой объект, как «водоспокойствие». Однако язык заставляет нас видеть мир в большей степени дискретно: есть вода, есть покой, есть тишина. Мир становится собранием предметов, обладающих различной степенью дискретности. То, что по логике вещей – лишь свойство чего-либо (*тихий*), обретает в языковой картине мира самостоятельное предметное бытие (*тишина*).

Повторяя логику языка, поэт и философ **усложняют структуру реальности**, обнаруживая в мире объекты, выходящие за пределы эмпирического познания:

Wszędzie <...> przebywała Obecność, niewiadomo czyja [15, s. 8].

Всюду пребывало Присутствие, не известно чьё.

Говоря о «неизбежности метафизики», М. Мамардашвили имел в виду именно это: абстрактные трансцендентные объекты создаются самим языком, а вслед за ним – философами и поэтами. Возможность рационального расчленения сферы недискретного относится не только к пространству, но и ко времени. Язык сегментирует время: по Милошу, он вынуждает нас воспринимать бесконечность в рамках «до» и «после».

Говоря о влиянии грамматических структур языка на человеческое мышление, Милош постоянно возвращается к вопросу о **конflikте единичного и универсального**, отмечая, что, возможно, это важнейшая проблема, на которую ему как поэту удалось выйти: «konflikt między uniwersalnym i poszczególnym to jest chyba konflikt jakoś zasadniczy dla wszystkiego, co pisałem» [16, s. 74]. Мир – это пространство индивидуальных вещей. Но языковая картина мира подобна карте. Язык изымает из мира единичное, делая его частью грамматического класса:

Co było indywidualne staje się odmianą ogólnego wzoru («Rzeki maleją») [17, s. 296].

В «Ziemia Ulro» по этому поводу Милош цитирует У. Блэйка: «Ogólność pożerała Szczegółność» – Общее пожирало Единичное<sup>7</sup>. Единичное не в силах вырваться из плена языка, который даже не предусмотрел для него «отдельного» слова:

W każdej rzeczy powinno być zawarte słowo. Ale nie jest.

(«Gdzie wschodzi słońce») [17, s. 365].

<sup>7</sup> Ср. у И. Бродского: «Однако поэтические строчки имеют обыкновение отклоняться от контекста в универсальную значимость <...>» (см.: Бродский И. Об Одне. СПб., 2007. С. 147).

Но если язык изначально направлен на отображение общего и ему не знакома единственность конкретной ситуации («jęзул nie zna poszczególnych wypadków»), то как «дотронуться» словом до каждого из многообразных единичных существований («dotknąć językiem pojedynczość rzeczy»? Так, в поэме «Na trąbach i na cytrze»:

Opisywać chciałem ten, nie inny kosz warzywa ...  
Opisywać chciałem ją, nie inną ...  
Także kota na jedynej w świecie wieży, jak układa  
mrucząc wielkie dzieło...  
Nadaremnie próbowałem, bo zostaje wielokrotny  
kosz warzywa.  
I nie ona, której skórę właśnie może ja kochałem, ale  
forma gramatyczna ... [17, s. 323].  
Я хотел описать эту, а не другую корзину с овощами...  
Хотел описать ее, а не другую девушку...  
Также кот на единственной в мире башне – как,  
мурлыча, сочиняет  
свою поэму...  
Напрасны были мои попытки, поскольку остается  
не эта, а просто корзина.  
И не та девушка, чью кожу я любил, а лишь грамматическая форма...

И далее: *вот этот лис, которого я вижу здесь и сейчас*, неизбежно оборачивается «общим предметом» – «представителем идеи лиса в плаще, подбитом универсалиями» («ogólny, pełnomocnik idei lisa w płaszczu podbitym uniwersaliami»), чье «свидетельство против языка» будет напрасно. Язык превращает мир в «каталог именованных», уводит нас в лабиринт, где правят законы его собственной логики [18, p. 74]. Поэтому любые попытки описать объект не могут привести к его полной актуализации в тексте:

... I am unable to make them appear with ... their  
only face, with the shape of the eyebrows, the color  
of those eyes («Persons») [11, p. 738].  
Я не в силах позволить им возникнуть ... именно  
их лицам, формам их бровей, цвету их глаз.

По Милошу, поэт балансирует *в пространстве бинарных оппозиций, порождаемых языком*. Именно язык часто заставляет нас думать исключительно в категориях «до» и «после»: «myśleć, posługując się kategoriami “przed” i “po”» [19, s. 72], выделять в мире «черное» и «белое», «добро» и «зло». В маленьком трактате об «августианской гримасе»<sup>8</sup> сказано, что Природа равнодушна к этическим вопросам, ей не свойственны категории Добра и Зла: «przyroda

obojętna niestety na zło i dobro». Коты, например, ловят мышей не из жестокости, а только потому, что видят бегущую мышь («po prostu widzą rzecz, która się gusza»). В мире нет зла. Это язык посредством человека говорит: вот жестокость («to tylko my mówimy: okrucieństwo») [11, p. 631].

Но тогда *в какой мере язык позволяет нам отобразить мир?* Являясь нашим домом и обеспечивая человеку возможность репрезентации действительности, язык одновременно служит источником нашей внутренней тревоги – сомнения в истинности языкового отображения. В 1989 г. в беседе с И. Бродским Милош так определяет отношения языка (текста) и мира: «...литература измеряется объемом реальности, уловленным словами. <...> Я оцениваю литературные произведения, будь то стихи или проза, именно мерой этого живого присутствия объективной реальности» [10, p. 103]. В этом для Милоша суть истинности литературы.

В рамках корреспондентной теории истинность определяется как адекватное соответствие высказывания о факте самому факту. В отличие от «чистых» философов Милош понимает истинность не только как соответствие языкового знака и вещи («на расстоянии»), но и как возможность, в буквальном смысле, *прикасаться* словом к миру. Теоретически, в качестве истинного, должен рассматриваться знак, достигший абсолютной степени иконизма, когда имя вещи сливается с самой вещью, образуя неразрывное единство:

<...> jeśli nasze słowo  
któregoś dnia tak zdoła się zespolić  
Z korą drzew leśnych i kwiatem pomarańczę  
Że będzie jednym <...> («Wezwanie») [17, s. 355].  
<...> если наше слово  
Однажды так сможет слиться  
С корой лесных деревьев и цветком апельсина  
Что будут одним целым <...>.

Однако язык не соразмерен реальности. Он – инструмент восприятия мира, но одновременно и препятствие для нашего восприятия. Непосредственное, т.е. «обнаженное» (вне языка) познание мира (*doznanie nagie*) оказывается невозможным; наше знание всегда неточно и ограничено возможностями языка:

<...> wiedza o rzeczach boskich, jaką może zdobyć  
człowiek, jest gruba, niedokładna, <...> ograniczona  
możliwościami języka [2, s. 135].

Милош пишет: «Мы зависим от языка, которым обладаем. Я мог бы привести примеры, когда Форма не позволяла поэтам выразить нечто действительно своё, поскольку они не могли пробиться через язык до более смелых понятий» [8, s. 56]. Этой проблеме

<sup>8</sup> Полное название «трактата»: «Do Pani profesor w obronie honoru kota i nie tylko (z okazji artykułu „Przeciw okrucieństwu” Marii Podraza-Kwiatkowskiej)».

посвящено эссе «Od młodości starałem się», приводимое здесь полностью:

Od młodości starałem się uchwycić słowami rzeczywistość, taką o jakiej myślałem chodząc ulicami ludzkiego miasta i nigdy to się nie udawało, dlatego każdy mój wiersz uważam za zadatek niespełnionego dzieła. Wcześniej odkryłem nieprzyleganie języka do tego, czym naprawdę jesteśmy, jakieś wielkie na niby podtrzymywane przez książki i stronicę gazetowego druku. I każda moja próba powiedzenia czegoś rzeczywistego kończyła się tak samo, zagnaniem mnie z powrotem w opłotki formy, niby owcy odbijającej się od stada [13, s. 11].

Со времен молодости я старался заключить действительность в слова, ту действительность, о которой я думал, бродя по улицам городов, и никогда мне это не удавалось, поэтому каждое своё стихотворение я рассматриваю как задаток того, что еще не выполнено, не написано. Я рано открыл невозможность совместить язык с тем, чем мы являемся на самом деле, некое «как будто», поддерживаемое книгами и страницами газет. И каждая моя попытка сказать что-то истинное, верное, заканчивалась всё тем же – насильственным возвращением назад, за ограждения форм, словно я – отбившаяся от стада овца.

Человек остается в пространстве языка, во власти его форм и грамматики, не в силах вобрать в слово бесконечное число «подробностей» физического мира [8, s. 98]. Язык создает иллюзию отображения мира – иллюзию зеркала, в котором действительность отражается «как будто», «словно» (*na niby*). Поэзия, подобно птице, бьется о стекло языка [19, s. 63].

Свой *лингвистический скептицизм*, или сомнения в возможности истинного отображения мира, Милош объясняет также тем, что наше видение действительности определяется не только языком, но и *конвенциями культуры, властью дискурса*. В Нортонских лекциях Милоша вопрос о необходимости подчинения конвенциям языка поднимается на следующую ступень. Поэт видит мир сквозь призму языка и культуры как «изображение», предуготованное априорным опытом поколений. Этот опыт воплощен не только в грамматиках языков, но и в сложившихся в культуре стилях, формах, жанрах [18, p. 74–75]. Поэтому репрезентация мира подменяется, в определенном смысле, репрезентацией культуры. Мы живем, пишет Милош, в эпоху комментариев:

... dożyłem epoki, kiedy słowo nie odnosi się do rzeczy, na przykład drzewa, tylko do tekstu o drzewie, który to tekst począł się z tekstu o drzewie, i tak dalej («O byciu poetą») [13, s. 74].

Я дожил до того времени, когда слово не отсылает к вещи, например дереву, но только к тексту о дереве, который берет начало в тексте о дереве, и так далее.

Чем больше мы думаем о соотносительности языка с миром, тем осознаннее становится интуитивное прозрение: язык и есть единственная действительность нашего существования, он дан человеку «вместо» мира. Милош многократно воспроизводит и варьирует семиотическую аксиому о неустранимой дистанции между языком и реальностью, медитируя над «недостаточностью» и неадекватностью языка: «I meditate now on the insufficiency of language» («Persons») [11, p. 738]. Число вариаций этой аксиомы у Милоша (на польском и английском языках) настолько велико, а каждая из них настолько ясно сформулирована, что трудно выбрать одну, не выписывая всё множество:

Undoubtedly, the Earth is and her riches cannot be exhausted by any description. <...> all attempts at enclosing the world in words are and will be futile; there is a basic incompatibility between language and reality [11, p. 65].

К сожалению, земля и всё богатство ее деталей не могут быть уловлены ни одной дескрипцией. <...> все попытки вместить мир в слово будут тщетными и бесплодными; есть изначальная несоизмеримость между языком и реальностью.

Отношение языка к реальности неоднозначно. С одной стороны, именно язык ее «создает», накрывая мир бархатным одеянием, без которого мир так и останется ничем:

<...> język rozwijał swoje aksamitne pasmo, po to, żeby zakryć to, co bez niego równałoby się nic [13, s. 87].

Однако, сохраняя каждую названную вещь во времени и пространстве, язык одновременно лишает ее реальности физического существования: будучи названной, вещь продолжает жить, но уже в тексте, став знаком. Отсюда бесконечное удивление поэта превращению жизни в графические символы, что никогда не позволяет нам узнать, чем или кем отображенное было в действительности [13, s. 55].

В качестве одного из аспектов «власти языка» Милош рассматривает вопрос о том, что *сущностные характеристики языка* (синтетизм или аналитизм его грамматической структуры) *оказывают воздействие на стилистику создаваемого текста*. Комментируя свои переводы Оскара Милоша, он говорит о том, что на английском языке, по сравнению с французским оригиналом, тексты стали в большей степе-

ни прозрачными («odrobinej bardziej przejrzyste»). Это касается и его собственного (польского) языка, который в эмиграции стал более «дистиллированным», очищенным от стилистических «украшений» [2, s. 212]. Об этом же пишет И. Бродский:

«Синтетический характер русского языка предопределяет кружение вокруг темы, попытки отразить действительность в стереоскопической форме, кумулятивно-собираемый образ мира в тексте. Тогда как английской поэзии, как и ее языку, присущ аналитический принцип, предполагающий «рассечение предмета». <...> Результат моего пребывания в англоязычном окружении – более высокая доля рационального в моих текстах» [20, с. 55, 258].

Оборотной стороной размышлений об априорности языка и его воздействии на homo scriptus, человека пишущего, становится *положение о поэте как «секретаре», «слуге», актуализирующем потенциал языка:*

Co za demonizm w naturze języka,  
Że można zostać tylko jego sługą! («Ze szkoda»)  
Что за демонизм в природе языка,  
Что можно быть только его слугой!

Поэт – слуга, секретарь, создающий тексты под диктовку самого Языка. Диктант может начаться с середины предложения, следующее же вдруг оборвется на полуслове. И целое, которое сложится из этих фрагментов, – не во власти поэта. Нельзя ни увидеть его, ни прочесть, ни понять – только знать, что оно существует:

Zaczynając w połowie zdania,  
Urywając inne przed kropką. A jaka złoży się całość.  
Nie nam dochodzić, bo nikt z nas jej nie odczyta («Sekretarze») [17, s. 343].

Та же мысль у И. Бродского: «Писатель пишет ... под диктовку своего собственного языка <...> на самом деле, писатель – слуга языка. Он – механическое средство языка, а не наоборот» [20, с. 57]. Отношения поэта и языка выстраиваются как отношения меньшего к большему, конечного к бесконечному, единичного к всеобъемлющему. Язык, за плечами которого традиция и история, властвует над нами: «język, łącznie z całą jego tradycją, rządzi nami» [13, s. 87].

Однако, признавая себя слугой языка, Милош пишет не о слепом подчинении, а об осознанном служении. Жизнь поэта и есть служение языку:

Wiernie służyłem polskiemu językowi.  
Pośród wielu języków jest dla mnie jedyny

(«Dziewięćdziesięcioletni poeta podpisuje swoje książki») [15, s. 18].

Я верно служил польскому языку.

Среди множества языков – он единственный.

Поклоняясь языку, поэт одновременно «создает» его и совершенствует: «wyznaczony, żeby swój język rodzinny uświetnić» [15, s. 21]. Стремясь «выйти из сферы притяжения грамматики», поэты создают «индивидуальные» языки. Эту «антиномию власти» – языка над человеком и человека над языком – Милош предельно ясно определяет в нортоновских лекциях:

I affirm that, when writing, every poet is making a choice between the dictates of poetic language and his fidelity to the real [18, p. 71].

Я настаиваю, что каждый пишущий делает выбор между диктатом поэтического языка и своей верностью миру.

Как же можно «контролировать» язык и преодолеть его «притяжение»? Как мыслитель Милош понимает и принимает положение средневековых схоластов о доминировании общего над единичным. Нет смысла вопрошать, отчего слово не может соприкоснуться с каждым индивидуальным существованием:

O, co się stało i Kiedy z *principium individuationis*  
Gdzie zapach ajeru nad rzeką, mój tylko i dla nikogo?

(«Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada») [17, s. 396].

О, что же случилось с принципом индивидуации?

Где запах аира над рекою, мой только и ни для кого?

Но как поэт он стремится к тому, чтобы, наперекор законам языка, единичное всё же получило воплощение в слове, не ушло в пространство универсального, не исчезло из нашей памяти:

<...> I would look intensely at their  
faces, trying to prevent their fading away («Capri») [11, p. 585].

У каждого поэта, считает Милош, есть мечта о возможности обнаружения или создания знаков, которые имели бы непосредственную связь со своим референтом. В этом случае за звуком, словом будут следовать, например, картины яблони, реки, поворота дороги – настолько отчетливые, словно мы видим всё это, озаренное вспышками летней грозы [17, s. 205]. Тогда, благодаря некой «секретной формуле», в нашу речь вернулась бы реальность мира, и обна-

ружился смысл, который невозможен без соотнесения знака и вещи:

Oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość.  
To znaczy sens, niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia [19, s. 63].

Вопрос о власти языка над человеком – один из наиболее парадоксальных и «открытых» вопросов современной философии культуры. **Кто ведущий и кто ведомый в связке язык-человек?** Здесь нет однозначных доказуемых положений. По Милошу, размышления о подобных проблемах сродни вхождению в пространство, где число вопросов всегда превысит число ответов на них: «wkraczanie na teren, gdzie roi się od pytań i jest niewiele odpowiedzi» [19, s. 70].

Любая исследовательская позиция по вопросам лингвистического детерминизма («за» или «против») не может быть поддержана системой абсолютно непротиворечивых доводов. Например, это касается уже упоминавшегося замечания Милоша о том, что под влиянием английского языка его родной польский в эмиграции стал более «дистиллированным», очищенным от стилистических «украшений» [2, s. 212].

Можно *допустить*, что характерные для Милоша проявления аналитизма (обостренное чувство формы, стремление работать в жанре «трактатов», дистанцированность от предмета речи) могли получать активное развитие в контексте «жесткого линейного синтаксиса» и других сущностных атрибутов грамматики английского языка. Но *доказать*, что те или иные стилистические черты возникли именно в ситуации билингвизма под влиянием второго языка, практически невозможно. Этого не позволил бы даже точнейший сопоставительный анализ стилистики Милоша «до Беркли» и текстов, созданных непосредственно в Америке. «Дистиллированность» языка периода Беркли может объясняться рядом совсем других причин: зрелостью мысли, огромной текстовой энциклопедической памятью поэта, изолированностью от живого контекста польского языка в эмиграции, что позволяло видеть родной язык «как бы со стороны».

Несмотря на отсутствие однозначных «ответов», работы в области философии языка, выполненные как «художественные исследования», нельзя отнести к сфере «лингвистической мифологии»<sup>9</sup>. Говоря о проблеме лингвистического детерминизма, Милош не только констатирует власть языка и формы над говорящим, но и определяет причины того, что же не позволяет нам снять с мира языковой «слепок». Язык одновременно наш дом, среда существования

и инструмент мышления о мире; живя в языковом доме, мы подчиняемся конвенциям грамматики; власть языка – это и власть всего пространства культуры, созданного языком. И далее: если язык своей властью не позволяет нам увидеть «истинный» мир, то какова цель такого положения вещей? В «Теологическом трактате» Милоша [19] звучит интересная мысль: возможно, Творец намеренно создал дистанцию между нами, языком и реальностью («dystans pomiędzy światem a wypowiedzią»). Более того, «прямого» доступа к миру не было даже у Него, создававшего мир по Слову. Грамматическое упорядочение составляет фундамент научной категоризации, а результатом языковых игр (способов максимально точно «совместить» знак с референтом) становится рождение множества индивидуальных «версий» мира, а значит, и расширение его пределов.

Аксиому о «власти» языка Милош усложняет до антиномии: человек во власти языка, но и язык в руках человека. Жизнь поэта – это постоянный диалог с языком, выявление его бесконечных возможностей, неостановимое движение к тому, чтобы всё-таки «вобрать» мир в слово и «дотронуться» высказыванием до действительности: «uchwycić słowami rzeczywistość» [13, s. 11].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Niebylski D. C.* The Poem on the Edge of the Word: The Limits of Language and the Uses of Silence in the Poetry of Mallarme, Rilke, and Vallejo / D. C. Niebylski. – New York : Lang, 1993.
2. *Miłosz Cz.* Ziemia Ulro / Cz. Miłosz. – Kraków : Znak, 2000.
3. *Медведев В. И.* Философия языка : очерки истории / В. И. Медведев. – СПб. : Изд-во РХГА, 2012.
4. *Брутян Г. А.* Гипотеза Сепира-Уорфа / Г. А. Брутян. – Ереван, 1968.
5. *Васильев С.* Философский анализ гипотезы лингвистической относительности / С. Васильев. – Киев, 1974.
6. *Гумбольдт В.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества / В. Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. – М. : Прогресс, 1984.
7. *Потебня А. А.* Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976.
8. *Miłosz Cz.* Abecadło / Cz. Miłosz. – Kraków : Wydawnictwo literackie, 2010.
9. *Miłosz Cz.* Szukanie ojczyzny / Cz. Miłosz. – Kraków : Znak, 1992.
10. *Miłosz Cz.* Conversations / Cz. Miłosz. – Mississippi : Univ. Press of Mississippi, 2006.

<sup>9</sup> Именно так польский лингвист Т. Скубалянка оценивает высказывания о языке, принадлежащие Чеславу Милошу (см.: *Skubalanka T.* Język poezji Czesława Miłosza. Lublin, 2006).

11. *Miłosz Cz. New and Collected Poems (1931–2001) / Cz. Miłosz.* – New York : HarperCollins Publ., 2003.

12. *Апель К.-О.* Трансцендентально-герменевтическое понятие языка / К.-О. Апель // Апель К.-О. Трансформация философии. – М. : Логос, 2001.

13. *Miłosz Cz. Jasności promieniste i inne wiersze / Cz. Miłosz.* – Warszawa : Zeszyty literackie, 2005.

14. *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – СПб. : А-сэд, 1994.

15. *Miłosz Cz. Wiersze ostatnie / Cz. Miłosz.* – Kraków : Znak, 2006.

16. *Fiut A.* Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy, jakie przeprowadził / A. Fiut. – Kraków : WL, 1988.

17. *Miłosz Cz. Poezje / Cz. Miłosz.* – Warszawa : Czytelnik, 1988.

18. *Miłosz Cz. The Witness of Poetry. The Charles Eliot Norton lectures 1981–1982 / Cz. Miłosz.* – Harvard University Press, 1983.

19. *Miłosz Cz. Traktat teologiczny / Cz. Miłosz // Miłosz Cz. Druga przestrzeń.* – Kraków : Znak, 2002.

20. *Бродский И.* Книга интервью / И. Бродский. – М. : Захаров, 2010.

*Пермский государственный педагогический университет*

*Бразговская Е. Е., доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания*

*E-mail: elen\_braz@rambler.ru*

*Тел.: (342)2386-322*

*Perm State Pedagogical University*

*Brazgovskaya E. E., Doctor of Philology, Professor  
Department of General Linguistic*

*E-mail: elen\_braz@rambler.ru*

*Tel.: (342)2386-322*